

А. П. Чехов

**Рассказы. Повести.
1898-1903**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Ч-56

Ч-56 **Чехов А.П.**
Рассказы. Повести. 1898-1903 / А. П. Чехов – М.: Книга по Требованию, 2024. – 302 с.

ISBN 978-5-4241-1846-3

В том вошли рассказы и повести, написанные в период 1898-1903 гг.

ISBN 978-5-4241-1846-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024
© А.П. Чехов, 2024

Антон Павлович Чехов
Рассказы. Повести.
1898-1903

У знакомых

Утром пришло письмо:

«Милый Миша, Вы нас забыли совсем, приезжайте поскорее, мы хотим Вас видеть. Умоляем Вас обе на коленях, приезжайте сегодня, покажите Ваши ясные очи. Ждем с нетерпением.

Та и Ва.

Кузьминки 7 июня».

Письмо было от Татьяны Алексеевны Лосевой, которую лет десять – двенадцать назад, когда Подгорин жил в Кузьминках, называли сокращенно Та. Но кто же Ва? Вспомнились Подгорину длинные разговоры, веселый смех, романсы, прогулки по вечерам и целый цветник девушек и молодых женщин, живших когда-то в Кузьминках и около, и вспомнилось простое, живое, умное лицо с веснушками, которые так шли к темнорыжим волосам, – это Варя, или Варвара Павловна, подруга Татьяны. Она кончила на медицинских курсах и служит где-то за Тулой, на фабрике, и теперь, очевидно, приехала в Кузьминки погостить.

«Милая Ва! – думал Подгорин, отдаваясь воспоминаниям. – Какая она славная!»

Татьяна, Варя и он были почти одних лет; но тогда он был студентом, а они уже взрослыми девушками-невестами и на него смотрели, как на мальчика. И теперь, хотя он был уже адвокатом и начинал сесть, они всё еще называли его Мишей и считали молодым, и говорили, что он еще ничего не испытал в жизни.

Он любил их очень, но больше, кажется, любил в своих воспоминаниях, чем так. Настоящее было ему мало знакомо, непонятно и чуждо. Было чуждо и это короткое, игривое письмо, которое, вероятно, сочиняли долго, с напряжением, и когда Татьяна писала, то за ее спиной, наверное, стоял ее муж Сергей Сергееч... Кузьминки пошли в приданое только шесть лет назад, но уже разорены этим самым Сергеем Сергеечем, и теперь всякий раз, когда приходится платить в банк или по закладным, к Подгорину обращаются за советом, как к юристу, и мало того, уже два раза просили у него займы. Очевидно, и теперь хотели от него совета или денег.

Уже не тянуло в Кузьминки, как прежде. Грустно там. Нет уже ни смеха, ни шума, ни веселых, беспечных лиц, ни свиданий в тихие лунные ночи, а главное, нет уже молодости; да и всё это, вероятно, очаровательно только в воспоминаниях... Кроме Та и Ва, там есть еще На, сестра Татьяны Надежда, которую в шутку и серьезно называли его невестой; она выросла на его глазах, рассчитывали, что он на ней женится, и одно время он был влюблен в нее и собирался сделать предложение, но вот ей уже двадцать четвертый год, а он всё еще не женился...

«Как всё это сложилось, однако, – думал он теперь, в смущении перечитывая письмо. – А не поехать нельзя, обидится...»

То, что он давно уже не был у Лосевых, камнем лежало у него на совести. И, походив по комнате, подумав, он сделал над собой усилие и решил поехать к ним дня на три, отбыть эту повинность и потом быть свободным и покойным по крайней мере до будущего лета. И, собираясь после завтрака на Брестский вокзал, он сказал прислуге, что вернется через три дня.

От Москвы до Кузьминок было два часа езды и потом от станции на лошадях минут двадцать. Уже со станции виден был лес Татьяны и три высоких узких дачи, которые начал строить и не достроил Лосев, пускавшийся в первые годы после женитьбы на разные аферы. Разорили его и эти дачи, и разные хозяйственные предприятия, и частые поездки в Москву, где он завтракал в «Славянском базаре», обедал в «Эрмитаже» и кончал день на Малой Бронной или на Живодерке у цыган (это называл он «встряхнуться»). Подгорин сам и выпивал, иногда помногу, и бывал у женщин без разбора, но лениво, холодно, не испытывая никакого удовольствия, и им овладевало брезгливое чувство, когда в его присутствии этому отдавались со страстью другие, и он не понимал людей, которые на Живодерке чувствуют себя свободнее, чем дома, около порядочных женщин, и не любил таких людей; ему казалось, что всякая нечистота пристает к ним, как репейник. И Лосева он не любил и считал его неинтересным, ни на что не способным, ленивым малым, и в его обществе не раз испытывал брезгливое чувство...

Тотчас за лесом его встретили Сергей Сергеич и Надежда.

– Дорогой мой, что же это вы нас забыли? – говорил Сергей Сергеич, целуясь с ним три раза и потом держа его за талию обеими руками. – Вы нас совсем разлюбили, дружище.

У него были крупные черты, толстый нос, негустая русая борода; волосы он зачесывал набок, по-купечески, чтобы казаться простым, чисто русским. Он, когда говорил, дышал собеседнику прямо в лицо, а когда молчал, то дышал носом, тяжело. Его упитанное тело и излишняя сытость стесняли его, и он, чтобы легче дышать, всё выпячивал грудь, и это придавало ему надменный вид. Рядом с ним Надежда, его свояченица, казалась воздушной. Это была светлая блондинка, бледная, с добрыми, ласковыми глазами, стройная; красивая или нет – Подгорин понять не мог, так как знал ее с детства и пригляделся к ее наружности. Теперь она была в белом платье, с открытой шеей, и это впечатление белой, длинной, голой шеи было для него ново и не совсем приятно.

– Мы с сестрой ждем вас с утра, – сказала она. – У нас Варя, и тоже ждет вас.

Она взяла его под руку и вдруг засмеялась без причины и издала легкий радостный крик, точно была внезапно очарована какою-то мыслью. Поле с цветущей рожью, которое не шевелилось в тихом воздухе, и лес, озаренный солнцем, были прекрасны; и было похоже, что Надежда заметила это только теперь, идя рядом с Подгориным.

– Я приехал к вам на три дня, – сказал он. – Простите, раньше никак не мог выбраться из Москвы.

– Нехорошо, нехорошо, забыли нас совсем, – говорил Сергей Сергеич с добродушной укоризной. – *Jamais de ma vie!*¹ – сказал он вдруг и щелкнул пальцами.

У него была манера неожиданно для собеседника произносить в форме восклицания какую-нибудь фразу, не имевшую никакого отношения к разговору, и при этом щелкать пальцами. И всегда он подражал кому-нибудь; если закатывал глаза, или небрежно откидывал назад волосы, или впадал в пафос, то это значило, что накануне он был в театре или на обеде, где говорили речи. Теперь он шел, как подагрик, мелкими шагами, не сгибая колен, – должно быть, тоже подражал кому-то.

– Знаете, Таня не верила, что вы приедете, – сказала Надежда. – У меня же и у Вари было предчувствие; я почему-то знала, что вы приедете именно с этим поездом.

– *Jamais de ma vie!* – повторил Сергей Сергеевич.

В саду на террасе поджидали дамы. Десять лет назад Подгорин – он был тогда бедным студентом – преподавал Надежде математику и историю, за стол и квартиру; и Варя, курсистка, кстати брала у него уроки латинского языка. А Таня, тогда уже красивая, взрослая девушка, ни о чем не думала, кроме любви, и хотела только любви и счастья, страстно хотела, и ожидала жениха, который грезился ей дни и ночи. И теперь, когда ей было уже более тридцати лет, такая же красивая, видная, как прежде, в широком пеньюаре, с полными, белыми руками, она думала только о муже и о своих двух девочках, и у нее было такое выражение, что хотя вот она говорит и улыбается, но всё же она себе на уме, всё же она на страже своей любви и своих прав на эту любовь и всякую минуту готова броситься на врага, который захотел бы отнять у нее мужа и детей. Она любила сильно и, казалось ей, была любима взаимно, но ревность и страх за детей мучили ее постоянно и мешали ей быть счастливой.

После шумной встречи на террасе все, кроме Сергея Сергеевича, пошли в комнату Татьяны. Сквозь опущенные шторы сюда не проникали солнечные лучи, было сумеречно, так что все розы в большом букете казались одного цвета. Подгорина усадили в старое кресло у окна, Надежда села у его ног, на низкой скамеечке. Он знал, что, кроме ласковых попреков, шуток, смеха, которые слышались теперь и так напоминали ему прошлое, будет еще неприятный разговор о векселях и закладных, – этого не миновать, – и подумал, что, пожалуй, было бы лучше поговорить о делах теперь же, не откладывая; отделаться поскорее и – потом в сад, на воздух...

– Не поговорить ли нам сначала о делах? – сказал он. – Что у вас тут в Кузьминках новенького? Всё ли благополучно в Датском королевстве?

– Нехорошо у нас в Кузьминках, – ответила Татьяна и печально вздохнула. – Ах, наши дела так плохи, так плохи, что хуже, кажется, и быть не может, – сказала она и в волнении прошла по комнате. – Имение наше продается, торги назначены на седьмое августа, уже везде публикации, и покупатели приезжают сюда, ходят по комнатам, смотрят... Всякий теперь имеет право входить в мою комнату и смотреть. Юридически это, быть может, справедливо, но это меня унижает, оскорбляет глубоко. Платить нам нечем и взять взаймы уже нелегко. Одним словом, ужасно, ужасно! Клянусь вам, – продолжала она, останавливаясь среди комнаты; голос ее дрожал и из глаз брызнули слезы, – клянусь вам всем святым, счастьем моих детей, без Кузьминок я не могу! Я здесь родилась, это мое гнездо, и если у меня отнимут его, то я не переживу, я умру с отчаяния.

– Мне кажется, вы слишком мрачно смотрите, – сказал Подгорин. – Всё обойдется. Ваш муж будет служить, вы войдете в новую колею, будете жить по-новому.

– Как вы можете это говорить! – крикнула Татьяна; теперь она казалась очень красивой и сильной, и то, что она каждую минуту была готова броситься на врага, который захотел бы отнять у нее мужа, детей и гнездо, было выражено на ее лице и во всей фигуре особенно резко. – Какая там новая жизнь! Сергей хлопочет, ему обещали место податного инспектора где-то там в Уфимской или

Пермской губернии, и я готова куда угодно, хоть в Сибирь, я готова жить там десять, двадцать лет, но я должна знать, что рано или поздно я все-таки вернусь в Кузьминки. Без Кузьминок я не могу. И не могу, и не хочу. Не хочу! – крикнула она и топнула ногой.

– Вы, Миша, адвокат, – сказала Варя, – вы крючок, и это ваше дело посоветовать, что делать.

Был только один ответ, справедливый и разумный: «ничего нельзя сделать», но Подгорин не решился сказать это прямо и пробормотал нерешительно:

– Надо будет подумать... Я подумаю.

В нем было два человека. Как адвокату, ему случалось вести дела грубые, в суде и с клиентами он держался высокомерно и выражал свое мнение всегда прямо и резко, с приятелями покучивал грубо, но в своей личной интимной жизни, около близких или давно знакомых людей он обнаруживал необыкновенную деликатность, был застенчив и чувствителен и не умел говорить прямо. Достаточно было одной слезы, косого взгляда, лжи или даже некрасивого жеста, как он весь сжимался и терял волю. Теперь Надежда сидела у его ног, и ее голая шея ему не нравилась, и это его смущало, даже хотелось уехать домой. Как-то, год назад, он встретился с Сергеем Сергеевичем у одной барыни на Бронной, и теперь ему неловко было перед Татьяной, точно он сам участвовал в измене. А этот разговор о Кузьминках поставил его в большое затруднение. Он привык к тому, что все щекотливые и неприятные вопросы решались судьями, или присяжными, или просто какой-нибудь статьёй закона, когда же вопрос предлагали ему лично, на его разрешение, то он терялся.

– Миша, вы наш друг, все мы вас любим, как своего, – продолжала Татьяна, – и я вам скажу откровенно: на вас вся надежда. Научите, бога ради, что нам делать? Может быть, нужно подать куда-нибудь прошение? Может быть, еще не поздно перевести имение на имя Нади или Вари?... Что делать?

– Выручайте, Миша, выручайте, – сказала Варя, закуривая. – Вы всегда были умницей. Вы мало жили, еще ничего не испытали в жизни, но у вас на плечах хорошая голова... Вы поможете Тане, я знаю.

– Надо подумать... Может быть, придумаю что-нибудь.

Пошли гулять в сад, потом в поле. Гулял и Сергей Сергеевич также. Он взял Подгорина под руку и всё вводил его вперед, видимо, собираясь поговорить с ним о чем-то, вероятно, о плохих делах. А идти рядом с Сергеем Сергеевичем и говорить с ним было мучительно. Он то и дело целовался, и всё по три раза, брал под руку, обнимал за талию, дышал в лицо, и казалось, что он покрыт сладким клеем и сейчас прилипнет к вам; и это выражение в глазах, что ему что-то нужно от Подгорина, что он о чем-то сейчас попросит, производило тягостное впечатление, как будто он прицеливался из револьвера.

Зашло солнце, стало темнеть. По линии железной дороги там и сям зажглись огни, зеленые, красные... Варя остановилась и, глядя на эти огни, стала читать:

Прямо дороженька: насыпи узкие,³

Столбики, рельсы, мосты,

А по бокам-то всё косточки русские...

Сколько их!..

– Как дальше? Ах, боже мой, забыла всё!

Мы надрывались под зноем, под холодом,

С вечно согнутой спиной...

Она читала великолепным грудным голосом, с чувством, на лице у нее загорелся живой румянец, и на глазах показались слезы. Это была прежняя Варя, Варя-курсистка, и, слушая ее, Подгорин думал о прошлом и вспоминал, что и сам он, когда был студентом, знал наизусть много хороших стихов и любил читать их.

Не разогнул свою спину горбатую

Он и теперь еще: тупо молчит...

Но дальше Варя не помнила... Она замолчала и слабо и вяло улыбнулась, и после ее чтения зеленые и красные огни стали казаться печальными...

— Эх, забыла.

Зато Подгорин вдруг вспомнил, — как-то случайно уцелело у него в памяти со студенчества, — и прочел тихо, вполголоса:

Вынес достаточно русский народ,

Вынес и эту дорогу железную, —

Вынесет всё — и широкую, ясную

Грудью дорогу проложит себе...

Жаль только...

— Жаль только, — перебила его Варя, вспомнив, — жаль только, жить в эту пору прекрасную уже не придется ни мне, ни тебе!

И она засмеялась и хлопнула его рукой по плечу.

Вернулись домой и сели ужинать. Сергей Сергеич небрежно ткнул угол салфетки за ворот — подражая кому-то.

— Давайте выпьем, — сказал он, наливая водки себе и Подгорину. — Мы, старые студенты, умели и выпить, и красно говорить, и дело делать. Пью за ваше здоровье, дружище, а вы выпейте за здоровье старого дуралея-идеалиста и пожелайте ему, чтобы он так идеалистом и умер. Горбатого могила исправит.

Татьяна всё время за ужином посматривала нежно на мужа, ревнуя и беспокоясь, как бы он не съел или не выпил чего-нибудь вредного. Ей казалось, что он избалован женщинами, устал, — это ей нравилось в нем, и в то же время она страдала. Варя и Надя также были нежны с ним и смотрели на него с беспокойством, точно боялись, что он вдруг возьмет и уйдет от них. Когда он хотел налить себе вторую рюмку, Варя сделала сердитое лицо и сказала:

— Вы отравляете себя, Сергей Сергеич. Вы нервный, впечатлительный человек и легко можете стать алкоголиком. Таня, вели убрать водку.

Вообще Сергей Сергеич имел большой успех у женщин. Они любили его рост, сложение, крупные черты лица, его праздность и его несчастья. Они говорили, что он очень добр и потому расточителен; он идеалист, и потому непрактичен; он честен, чист душой, не умеет приспособляться к людям и обстоятельствам, и потому ничего не имеет и не находит себе определенных занятий. Ему они верили глубоко, обожали его и избаловали его своим поклонением, так что он сам стал верить, что он идеалист, непрактичен, честен, чист душой и что он на целую голову выше и лучше этих женщин.

— Что же вы не похвалите моих девочек? — говорила Татьяна, глядя с любовью на своих двух девочек, здоровых, сытых, похожих на булки, и накладывая им полные тарелки рису. — Вы только взгляните в них! Говорят, что все матери хвалят своих детей, но, уверю вас, я беспристрастна, мои девочки необычно-

венные. Особенно старшая.

Подгорин улыбался ей и девочкам, но ему было странно, что эта здоровая, молодая, неглупая женщина, в сущности такой большой, сложный организм, всю свою энергию, все силы жизни расходует на такую несложную, мелкую работу, как устройство этого гнезда, которое и без того уже устроено.

«Может быть, это так и нужно, — думал он, — но это неинтересно и неумно».

— Он ахнуть не успел, как на него медведь напал,⁴ — сказал Сергей Сергеич и щелкнул пальцами.

Поужинали. Татьяна и Варя посадили Подгорина в гостиной на диване и стали говорить с ним вполголоса, опять о делах.

— Мы должны выручить Сергея Сергеича, — сказала Варя, — это наша нравственная обязанность. Он имеет свои слабости, он не бережлив, не думает о черном дне, но это оттого, что он очень добр и щедр. Душа у него совсем детская. Если дать ему миллион, то через месяц же у него ничего не останется, всё раздаст.

— Правда, правда, — сказала Татьяна, и слезы потекли у нее по щекам. — Я настрадалась с ним, но должна сознаться, это чудный человек.

И обе они, Татьяна и Варя, не могли удержаться от маленькой жестокости, чтобы не попрекнуть Подгорина:

— А ваше поколение, Миша, уже не то!

«А при чем тут поколение? — подумал Подгорин. — Ведь Лосев старше меня лет на шесть, не больше...»

— Нелегко жить на этом свете, — сказала Варя и вздохнула. — Человеку постоянно угрожает какая-нибудь потеря. То хотят отнять у тебя имение, то заболел кто-нибудь из близких и боишься, как бы он не умер, — и так изо дня в день. Но что делать, друзья мои. Надо без ропота подчиняться высшей воле, надо помнить, что на этом свете ничто не случайно, всё имеет свои отдаленные цели. Вы, Миша, еще мало жили и мало страдали, и вы будете смеяться надо мной; смейтесь, но я все-таки скажу: в пору моих самых жгучих тревог у меня было несколько случаев ясновидения, и это произвело в моей душе переворот, и теперь я знаю, что ничто не случайно и всё, что происходит в нашей жизни, необходимо.

Как эта Варя, уже седая, затянутая в корсет, в модном платье с высокими рукавами, Варя, вертящая папиросу длинными, худыми пальцами, которые почему-то дрожат у нее, Варя, легко впадающая в мистицизм, говорящая так вяло и монотонно, — как она непохожа на Варю-курсистку, рыжую, веселую, шумную, смелую...

«И куда оно всё девалось!» — думал Подгорин, слушая ее со скукой.

— Спойте, Ва, что-нибудь, — сказал он ей, чтобы прекратить этот разговор об ясновидении. — Когда-то вы хорошо пели.

— Э, Миша, что было, то бывшем поросло.

— Ну, из Некрасова прочтите.

— Всё забыла. Давеча это у меня нечаянно вышло.

Несмотря на корсет и высокие рукава, было заметно, что она нуждалась и у себя на фабрике за Тулой жила впроголодь. И было очень заметно, что она работалась; тяжелый, однообразный труд и это ее постоянное вмешательство в чужие дела, заботы о других переутомили и состарили ее, и Подгорин, глядя теперь на ее печальное, уже поблекшее лицо, думал, что в сущности следовало бы помочь не Кузьминкам и не Сергею Сергеичу, за которых она так хлопочет, а

ей самой.

Высшее образование и то, что она стала врачом, казалось, не коснулись в ней женщины. Она так же, как Татьяна, любила свадьбы, роды, крестины, длинные разговоры о детях, любила страшные романы с благоприятной развязкой, в газетах читала только про пожары, наводнения и торжественные церемонии; ей очень хотелось, чтобы Подгорин сделал предложение Надежде, и если бы это случилось, то она расплакалась бы от умиления.

Он не знал, произошло ли это случайно, или так устроила Варя, – он остался один с Надеждой, но одно подозрение, что за ним наблюдают и что от него чего-то хотят, стесняло и смущало его, и возле Надежды он чувствовал себя так, как будто его посадили вместе с ней в одну клетку.

– Пойдемте в сад, – сказала она.

Они пошли в сад: он недовольный, с досадным чувством, не зная, о чем говорить с ней, а она радостная, гордая его близостью, очевидно довольная, что он проживет здесь еще три дня, и полная, быть может, сладких грез и надежд. Ему было неизвестно, любит ли она его, но он знал, что она привыкла и привязалась к нему уже давно и всё еще видит в нем своего учителя и что теперь у нее на душе происходит то же, что когда-то происходило у ее сестры Татьяны, то есть она думает только о любви, о том, как бы поскорее выйти замуж, иметь мужа, детей и свой угол. Чувство дружбы, которое бывает так сильно в детях, она сохранила до сих пор, и очень возможно, что она только уважала Подгорина и любила как друга, влюблена же была не в него, а в эти свои мечты о муже и детях.

– Становится темно, – сказал он.

– Да. Луна восходит теперь поздно.

Они ходили всё по одной аллее, около дома. Подгорину не хотелось идти в глубь сада: там темно, пришлось бы взять Надежду под руку, быть очень близко к ней. На террасе двигались какие-то тени, и ему казалось, что это Татьяна и Варя наблюдают за ним.

– Мне нужно с вами посоветоваться, – сказала Надежда, останавливаясь. – Если Кузьминки продадут, то Сергей Сергеич поедет служить, и тогда наша жизнь должна измениться совершенно. Я не поеду с сестрой, мы расстанемся, потому что я не хочу быть бременем для ее семьи. Надо работать. Я поступлю в Москве куда-нибудь, буду зарабатывать, помогать сестре и ее мужу. Вы поможете мне советом – не правда ли?

Совершенно незнакомая с трудом, она теперь была воодушевлена мыслью о самостоятельной, трудовой жизни, строила планы будущего – это было написано на ее лице, и та жизнь, когда она будет работать и помогать другим, казалась ей прекрасной, поэтичной. Он видел близко ее бледное лицо и темные брови и вспоминал, какая это была умная, сметливая ученица, с какими хорошими задатками, и как приятно было давать ей уроки. И теперь, вероятно, это была не просто барышня, которая хочет жениха, а умная, благородная девушка, доброты необыкновенной, с кроткой, мягкой душой, из которой, как из воска, можно слепить всё что угодно, и, попади она в подходящую среду, из нее вышла бы превосходная женщина.

«Отчего бы и не жениться на ней, в самом деле?» – подумал Подгорин, но тотчас же почему-то испугался этой мысли и пошел к дому.

В гостиной за роялью сидела Татьяна, и ее игра живо напоминала прошлое,

когда в этой самой гостиной играли, пели и танцевали до глубокой ночи, при открытых окнах, и птицы в саду и на реке тоже пели. Подгорин развеселился, стал шалить, протанцевал и с Надеждой, и с Варей, потом пел. Его стесняла мозоль на ноге, и он просил позволения надеть туфли Сергея Сергеича и, странное дело, в туфлях почувствовал себя своим человеком, родным («Точно зять...» — мелькнуло у него в мыслях), и ему стало еще веселей. Глядя на него, все ожили, повеселели, точно помолодели; у всех лица засияли надеждой: Кузьминки спасены! Ведь это так просто сделать: стоит только придумать что-нибудь, порыться в законах или Наде выйти за Подгорина... И, очевидно, дело уже идет на лад. Надя, розовая, счастливая, с глазами, полными слез, в ожидании чего-то необыкновенного, кружилась в танце, и белое платье ее надувалось, и видны были ее маленькие красивые ноги в чулках телесного цвета... Варя, очень довольная, взяла Подгорина под руку и сказала ему вполголоса, с значительным выражением:

— Миша, не бегите своего счастья. Берите его, пока оно само дается вам в руки, а потом и сами побежите за ним, да уж будет поздно, не догоните.

Подгорину хотелось обещать, обнадеживать, и уже он сам верил, что Кузьминки спасены и что это так просто сделать.

— И бу-удешь ты царицей ми-ира...⁵ — запел он, становясь в позу, но вдруг вспомнил, что ничего не может сделать для этих людей, решительно ничего, и притих, как виноватый.

И потом сидел в углу, молча, поджимая ноги, обутые в чужие туфли.

Глядя на него, и остальные поняли, что сделать уже ничего нельзя, и притихли. Закрыли рояль. И все заметили, что уже поздно, пора спать, и Татьяна погасила в гостиной большую лампу.

Подгорину была приготовлена постель в том самом флигеле, где он жил когда-то. Сергей Сергеич пошел проводить его, держа высоко над головой свечу, хотя уже восходила луна и было светло. Они шли по аллее между кустами сирени, и у обоих под ногами шуршал гравий.

— Он ахнуть не успел, как на него медведь напал, — сказал Сергей Сергеич.

И Подгорину казалось, что эту фразу он слышал уже тысячу раз. Как она ему надоела! Когда пришли во флигель, Сергей Сергеич достал из своего просторного пиджака бутылку и две рюмки и поставил их на стол.

— Это коньяк, — сказал он. — Номер ноль-ноль. Там в доме Варя, пить при ней нельзя, сейчас начнет об алкоголизме, а здесь нам вольготно. Коньяк великолепный.

Сели. Коньяк в самом деле оказался хорошим.

— Давайте выпьем сегодня основательно, — продолжал Сергей Сергеич, закусывая лимоном. — Я старый бурш, люблю иногда встряхнуться. Это необходимо.

А в глазах было всё то же выражение, что ему что-то нужно от Подгорина и что он о чем-то сейчас попросит.

— Выпьем, душа моя, — продолжал он, вздыхая, — а то уж очень тяжело стало. Нашему брату-чужаку конец пришел, крышка. Идеализм теперь не в моде. Теперь царит рубль, и если хочешь, чтобы не спихнули с дороги, то распластайся перед рублем и благоговей. Но я не могу. Уж очень претит!

— Когда назначены торги? — спросил Подгорин, чтобы переменить разговор.

— На седьмое августа. Но я вовсе не рассчитываю, дорогой мой, спасать